

Леонид Люкс

## Демократия, которая не сумела себя защитить – к 95-тилетию Февральской революции

У Февральской революции, попытавшейся построить первое в истории России демократическое государство, – мало защитников. В своей книге *Двести лет вместе*, посвященной русско-еврейским отношениям, Александр Солженицын говорит о зловещей роли главного органа революции – Центрального Исполнительного комитета Петроградского совета (ЦИК), который, якобы, пытался повернуть революцию на путь растущего радикализма. Эту губительную для России установку Солженицын объясняет преимущественно нерусским составом руководства советами, где инородцы (евреи, кавказцы, поляки и другие) играли непропорционально большую роль.

Это утверждение Солженицына ставит реальное положение вещей с ног на голову. Ведь именно этот, якобы нерусский, ЦИК в первые месяцы Февральской революции прилагал усилия к тому, чтобы утихомирить радикально-революционный порыв, который охватил тогда широкие слои именно русского народа. Ради того, чтобы, действуя совместно с буржуазно-либеральными силами, ввести в определенные рамки эту волну анархии, умеренные руководители советов даже вступили в начале мая 1917 г. во Временное правительство. Потому-то Петроградский совет и утратил популярность в массах. Они все меньше прислушивались к уговорам умеренных социалистов, призывавших к сдержанности. «Массы испытывают нечто вроде инстинктивного страха, что революция окончится слишком рано, – пишет в этой связи первый министр иностранных дел Временного правительства Павел Милюков. – У них такое чувство, что революция окончится ничем, если верх одержат одни лишь умеренные элементы»<sup>1</sup>. И отнюдь не случайно такие ленинские призывы, как «грабь награбленное» или «немедленно прекратить империалистическую войну», нашли у русских крестьян и солдат куда более сочувственный отклик, чем предостережения умеренного руководства советов от чересчур радикальных требований, от слишком радикальной тактики.

«Открытостью души навстречу всем вихрям революции, Ленин до конца слился с самыми темными, разрушительными инстинктами народных масс», – пишет философ, активный участник тогдашних событий Федор Степун<sup>2</sup>. Это наблюдение Степуна совпадает с высказываниями многочисленных свидетелей той поры.

<sup>1</sup> Miljukov, P. Rußlands Zusammenbruch. 2 Vols. Stuttgart, 1925-1926. Vol. 1. P. 25.

<sup>2</sup> Степун, Ф. Сбывшееся и несбывшееся. 2 тома. New York, 1956. Т. 2. С. 104.

Не менее радикально чем Солженицын критикует Февральскую революцию и блестящий русский публицист П.Б. Струве. Струве, по существу, не делает качественных различий между демократической фазой русской революции (февраль-октябрь 1917 г.) и начавшейся после большевистского государственного переворота тоталитарной фазой: «духовно, морально-культурно и политически, революция 1917 и последующих годов есть объективно и существенно единый процесс»<sup>3</sup>; он отмечает «реальный большевистский дух всей революции»<sup>4</sup> как народного движения.

Это смешение демократических и тоталитарных аспектов русской революции едва ли оправдано. Февральская революция представляла собой кульминацию начавшейся в декабре 1825 г. борьбы русского общества против государственного патернализма (восстание декабристов). Она завершила начавшийся в 1905 г. процесс превращения России в плюралистическое государственное сообщество, основанное на разделении властей и признании основных прав. Она устранила все сословные привилегии, гарантировала полную религиозную свободу и свободу слова, устранила неравноправие полов и ввела, раньше, чем многие страны Запада, избирательное право для женщин. То, что этот праздник свободы окончился в октябре 1917 г. печально, было связано со многими ошибками и неиспользованными возможностями молодой русской демократии, с беспрецедентным предательством ее врагов-большевиков, с недалекостью германского военного руководства, которое, чтобы прекратить войну на два фронта, поддерживало большевиков – своих «классовых врагов». Но такой конец «первой» русской демократии не был ни коим образом предопределен – существовали и иные возможности разрешения тогдашнего кризиса. Но это, однако, совсем другая история.

В этой связи намного важнее тот факт, что большевистская фаза русской революции, в отличие от утверждений Струве, основывалась на качественно противоположных принципах, чем Февральская революция. Самый свободный за всю русскую историю общественный строй, существовавший очень недолго, сменился самым несвободным.

Итак, аргумент тех критиков первой русской демократии, которые объясняют ее поражение чрезмерной радикальностью ее вождей, явно неубедителен. Правы ли тогда те авторы, которые обвиняют защитников Февраля в недостаточной решительности? В том, что они не решились провести немедленную земельную реформу и таким образом легализовать «черный передел», который крестьяне, согласно с ленинским лозунгом «грабь награбленное», начали осуществлять сразу же после падения монархии; в том, что они не вывели Россию немедленно из «империалистической войны», к чему призывал Ленин, т.е. не решились бросить союзников на произвол судьбы и обеспечить таким образом кайзеровской Герма-

---

<sup>3</sup> Струве, П. Прошлое, настоящее, будущее: мысли о национальном возрождении России // П.Б. Струве. Избранные сочинения. М., 1999. С. 320.

<sup>4</sup> Там же. С. 323.

нии гегемонию в Восточной и Центральной Европе? Почему же умеренные социалисты, которые до корниловского мятежа в августе 1917 были стержнем февральской системы, не предприняли требуемых Лениным и сегодняшними критиками Февраля шагов, и это несмотря на то, что в их рядах было немало сторонников радикальной аграрной реформы и острейших противников войны? Связано это было не в последнюю очередь с тем, что вожди Февраля сомневались в своей легитимности и решение важнейших вопросов, касающихся переустройства страны, хотели предоставить всенародно избранному Учредительному собранию.

Тот факт, что выборы в Учредительное собрание, провести которые обещало Временное Правительство уже в первом своем манифесте, весной 1917 г. постоянно откладывались, был, как справедливо заметил один из самых ярких вождей Февраля из лагеря умеренных социалистов, Ираклий Церетели, наверно самой главной ошибкой первой русской демократии<sup>5</sup>.

Каждый революционный разрыв с прошлым, который приводит к смене политических парадигм, нуждается в легитимации нового политического строя – в эпоху народного суверенитета такую легитимацию может предоставить только всенародно избранная конституанта. Трагедией Февраля было то, что эти выборы запоздали и произошли лишь после крушения первой русской демократии.

Но не меньшей ошибкой Февральской революции был тот факт, что она с недостаточной решительностью боролась против своих самых опасных врагов, которые, к всеобщему изумлению ее защитников, угрожали ей не справа, а слева. Что дело обстоит именно так, осознавали тогда, однако, только немногие. Когда Ираклий Церетели в июне 1917 года заявил, что «контрреволюция может проникнуть только через одни двери – через большевиков»<sup>6</sup>, слова эти были для большинства умеренных социалистов святотатством.

Они рассматривали большевиков как неотъемлемую составную часть «революционно-демократического фронта». Поэтому разоружение большевиков казалась им ослаблением своего собственного лагеря, изменой делу революции. Ю.О. Мартов, один из вождей меньшевиков, сказал, что в том случае, если руководители Советов применят против большевиков силу, они, по примеру генерала Кавеньяка, превратятся в «преторианцев» буржуазии<sup>7</sup>. (В 1848 году Кавеньяк был военным министром революционного правительства Франции и в июне 1848 года жестоко подавил восстание парижских рабочих).

Церетели беспощадно критиковал эту позицию Мартова и других левых социалистов. В своих воспоминаниях он писал, что меньшевистское большинство Совета не желало власти, чтобы не быть вынужденным не на словах, а на деле применять ее против большевиков. Небольшевистские левые считали аксиомой, что «революция не знает врагов слева». Призрак генерала Кавеньяка удерживал

<sup>5</sup> Церетели, И. Воспоминания о Февральской революции. Париж, 1963. С. 403.

<sup>6</sup> Pipes, R. Die Russische Revolution. Berlin, 1992. Vol. 2. P. 141.

<sup>7</sup> Церетели. Воспоминания. С. 214.

социалистов – противников большевиков от энергичной борьбы против левого экстремизма, ставшего главной угрозой для Февральской революции.

Даже события 3–5 июля 1917 г., когда большевики попытались силой свергнуть существовавший порядок, не привели к их исключению из лагеря так называемой «революционной демократии». Социалистические противники большевиков и в дальнейшем рассматривали их в качестве неотъемлемой составной части солидарного социалистического сообщества. Не в последнюю очередь именно поэтому представители большинства в Советах отказывались от слишком жесткого обращения с большевиками. Так как Временное правительство и в дальнейшем нуждалось в поддержке Советов, его буржуазные министры были вынуждены учитывать соображения социалистов – своих партнеров по коалиции. ЦИК Советов непрерывно клеймил позором кампанию травли, развязанную буржуазной прессой против большевиков, и выступал против утверждений об их сотрудничестве с немцами. Многие арестованные большевики уже через несколько недель были освобождены. Несмотря на их участие в попытке путча в июле 1917 года, они не были обвинены в антигосударственной деятельности. Относительную терпимость демократического государства по отношению к его радикальным врагам большевики воспринимали как проявление его слабости. Позже Ленин сказал, что в июле 1917 года большевики сделали ряд ошибок. Их противники вполне могли бы использовать эти ошибки в своей борьбе, но они «тогда не имели для этого ни последовательности, ни решительности»<sup>8</sup>.

Как же обстояли в действительности дела в революционной России 1917 года с так называемой контрреволюционной «правой опасностью»? Требовалась ли для ее преодоления мобилизация всех левых сил, даже таких агрессивных антидемократов, как большевики?

Каким на самом деле было соотношение сил, можно проследить на примере «корниловского мятежа» в августе 1917 г. Мнимая контрреволюционная опасность в итоге обернулась фарсом.

Провал путча однозначно подтвердил тезис, что армия больше не годится для борьбы против собственного народа. Так что русская демократия никоим образом не нуждалась в помощи левых экстремистов, чтобы успешно отразить опасность справа. Однако страх умеренных социалистов перед контрреволюцией был так велик, что они совершенно недооценивали свои силы и переоценивали силы противника. Не в последнюю очередь поэтому они и вернули оружие большевикам, разоруженным после провала июльского путча. Это, вероятно, было самое значительное и роковое последствие «корниловского мятежа».

После «корниловского путча» Временное правительство и связанные с ним умеренные социалисты почти полностью утратили политическую инициативу. Они, будто парализованные, наблюдали за решительными и целеустремленными действиями большевиков, которые мастерски показали, как следует использовать

---

<sup>8</sup> Pipes. Die Russische Revolution. Vol. 2. P. 177.

демократические свободы для устранения демократии. Большевистская партия получила возможность диктовать правила игры. Британский посол в Петербурге Бьюкенен в сентябре 1917 года писал: «Одни лишь большевики, составляющие компактное меньшинство, имели определенную политическую программу. Они деятельны и организованы лучше других групп... Если правительство не окажется достаточно сильным, чтобы подавить большевиков силой, остается только одна возможность – приход большевиков к власти»<sup>9</sup>.

Временное правительство сдалось практически без боя, так как почти не имело в своем распоряжении верных ему войск. Так, почти бескровно, совершился большевистский государственный переворот, ознаменовавший одну из самых радикальных революций в истории, переворот, с которого началось становление первого тоталитарного режима современности.

Крах первой русской демократии многие ее западные критики объясняли своеобразием политической культуры России, неспособностью общества к самостоятельному, независимому от государства развитию, патриархальными навыками и проч. Глава свергнутого большевиками Временного правительства, Александр Керенский, описывает в своих воспоминаниях разговор, который он в 1923 г. провел с одним из вождей немецкой социал-демократии, Рудольфом Гильфердингом. Гильфердинга поражало то, что русские демократы так легкомысленно выпустили из рук власть, которую они захватили после падения монархии. Такое в Германии было бы невозможно, утверждал немецкий политик: «Ваш народ просто не в состоянии жить в условиях свободы»<sup>10</sup>.

Десять лет спустя, пишет Керенский, Гильфердинга ожидала та же участь как и российских демократов. Он должен был бежать из своей страны, которая так же, как и Россия, попала в тоталитарное рабство.

И действительно, гибель демократии в России предвосхитила всего лишь на несколько лет гибель демократии во многих других странах Европы, и этот факт подтверждает тесную связь между Россией и Западом, которая наблюдается по крайней мере со времени петровских реформ. В эпоху между двумя мировыми войнами не только в России, но и на Западе многие демократии не сумели себя защитить.

Непосредственно после падения веймарской республики живущий тогда в Германии Федор Степун опубликовал в эмигрантском журнале *Новый Град* статью с ироническим названием «Германия "проснулась"», в которой он писал: «Самое потрясающее во всем происшедшем в Германии – это не сила фашистского натиска, а бессилие немецкой демократии ... В борьбе против своего врага она не обнаружила и сотой доли того героизма, что проявила наша молодая февральская

---

<sup>9</sup> Buchanan, Sir George. *My Mission to Russia and other Diplomatic Memories*. Boston, 1923. Vol. 2. P. 188 и сл.

<sup>10</sup> Die Kerenski-Memoiren. *Russland und der Wendepunkt der Geschichte*. Wien-Hamburg, 1966. P. 540.

республика в дни октября [sic]. Она пала так же бесславно, как монархия Николая II.»<sup>11</sup>.

В том же номере журнала *Новый Град* появилась и статья главного редактора журнала, Георгия Федотова, с тревожным названием «Демократия спит». Федотов пишет: «Еще обвал – и большая, живая страна, выносившая на своих плечах около половины культуры Запада, провалилась, если не в небытие, то за пределы нашего исторического времени ... В тот век, где меряют достоинство человека чистотою крови, где метят евреев желтым крестом ... где жгут ведьм и еретиков. Костров еще нет – для людей (пока репетируют на книгах), но до них осталось недолго ждать».

Федотова поражает тот факт, что ни русская, ни итальянская, ни германская катастрофы не послужили оставшимся свободными странам «крайнего Запада» толчком для развития стратегии борьбы против дальнейшего триумфального шествия тоталитаризма: «Отсутствие идей, отсутствие воли ... – такова формула кризиса демократии, вскрывающая не порочность учреждений, а нечто худшее: одряхление демократической культуры»<sup>12</sup>.

Предостережение Федотова, как мы знаем, не было услышано. Триумфальное шествие фашизма и национал-социализма продолжалось и в 1940 их владычество распространилось почти на всю западную часть Европы за исключением одиноко сражающейся Англии и нескольких нейтральных островков. Когда же демократия «проснулась»? Произошло это только после Второй мировой войны, когда на руинах Европы начала зарождаться идея «защищающей себя демократии». Идея эта была фундаментом, на котором строилась «вторая» немецкая демократия, которая во что бы то ни стало хотела избежать участи ее веймарской предшественницы.

Главным уроком, который создатели второй немецкой демократии извлекли из поражения первой, заключался в их выводе, что демократия должна уметь себя защищать. Член парламентского Совета, который разрабатывал Основной Закон будущей демократической Германии, социал-демократ Карло Шмид, говорил в сентябре 1948 года о нетерпимости, которую демократия должна проявлять по отношению к тем, кто использует демократические свободы для того, чтобы уничтожить демократию, а коллега Шмида из партии ХСС, Швальбер, критиковал Веймарскую конституцию за то, что она врагам свободы давала чуть ли не больше свобод, чем ее защитникам, что в конце концов и привело к уничтожению немецкой демократии легальным путем<sup>13</sup>.

Стоит здесь вспомнить слова Федора Степуна, который уже в 1934 году, будучи свидетелем уничтожения Веймарской республики, пришел к тем же выводам, которые сформулировали 14 лет спустя «отцы» немецкого Основного Закона. Степун писал: «Демократия ... должна быть лишь демократией для демократов.

<sup>11</sup> Степун, Ф. Сочинения. М., 2000. С. 482.

<sup>12</sup> Федотов, Г. Тяжба о России. Париж, 1982. С. 103, 113.

<sup>13</sup> Winkler, H.A. Der lange Weg nach Westen. München, 2002. Vol. 2. P. 132 и сл.

Против ханжества своих врагов ей приличествуют все формы действенной самообороны. Нельзя забывать, что демократия обязана защищать не только свободу мнения, но и *власть свободы*. Если эта власть не защитима словом, то ее надо защищать мечом. Это, по нашему времени положения элементарные и очевидные»<sup>14</sup>.

Извлекла ли возникшая после неудавшегося коммунистического путча в августе 1991 г. «вторая» русская демократия какие-либо уроки из опыта ее февральской предшественницы или же из опыта веймарской демократии? И да, и нет. Защитники второй русской демократии постоянно помнили о коммунистической или же фашистской угрозе, которые привели к краху первой русской и первой немецкой демократии. КПСС была запрещена, кроме того, в демократическом дискурсе появилось понятие «веймарской России», т.е. постоянно проводились аналогии между постсоветской Россией и веймарской республикой, в первую очередь для того, чтобы предотвратить повторение немецкого опыта на русской территории. Но к всеобщему удивлению, самой большой угрозой для проведенных в 90-ые годы демократических преобразований оказались не левые и правые экстремисты, требующие социального и имперского реванша и отождествляющие ельцинскую систему с оккупационным режимом «мировой закулисы», а силовые структуры, являющиеся сердцевинной созданной после свержения КПСС системы. Это они восстановили, в особенности после добровольной отставки Ельцина, «вертикаль власти», не нарушая даже при этом принятой в декабре 1993 года конституции, которая предоставляла возглавляющему эту вертикаль президенту такие полномочия, о которых не могут и мечтать главы других демократических государств.

Сценарий плавного перехода постсоветской России от открытого к полузакрывшему обществу радикально отличался от сценария крушения первой русской и первой немецкой демократии и был возможен только потому, что демократические идеи, переживавшие в августе 1991 апогей своей популярности, в кратчайшее время были дискредитированы в глазах большинства общества. После августа пришел декабрь (распуск Советского Союза), январь (шоковая терапия), октябрь (расстрел Белого Дома). Все эти процессы ассоциировались с понятием «демократия», которое для многих превратилось чуть ли не в бранное слово. Способствовал этой дискредитации, конечно, тот факт, что правящие демократические группировки недостаточно энергично боролись против повсеместной коррупции, прониканию мафиозных структур в административные и экономические сферы, против «криминальной революции», воспользовавшейся размыванием границ между дозволенным и недозволенным вследствие ослабления и разрыхления созданного коммунистами полицейского государства. Но с другой стороны нельзя забывать, что даже если бы победившие в августе 91 г. демократы являлись олицетворением всех возможных добродетелей, выход огромной стра-

---

<sup>14</sup> Степун. Сочинения. С. 501.

ны из того тупика, в который ввели ее в октябре 1917 г. большевики, ни в коем случае не был бы безболезненным.

Но начиная с декабря 2011, после частично сфальсифицированных выборов в Госдуму, страна вновь переживает смену парадигм. Демократические идеи, казалось бы вытесненные из сознания россиян в связи с потрясениями 90-х годов, переживают новый ренессанс. Все большее количество людей осознает, что власть, полностью освободившаяся от общественного контроля, лишенная конкуренции, принуждающей ее к компромиссам, теряет со временем и контроль над собой, способность исправлять сделанные ею ошибки. Только система сдержек и противовесов, последовательного разделения властей и общественного контроля над властью имущими может противостоять такому развитию, а у этой системы есть определенное название – демократия.

Начиная с массовых демонстраций на Болотной и на Сахаровском проспекте критики путинской системы подробно обсуждают вопросы тактического и стратегического противостояния «вертикали власти» в борьбе за эмансипацию общества. Все это, конечно, вопросы первостепенной важности, но при этом нельзя, однако, забывать, что общественные изменения происходят главным образом не на улицах, а в умах. Поэтому требующая демократических перемен оппозиция достигнет существенных успехов, только если ей удастся в общественном дискурсе вернуть понятию «демократия» его первоначальный смысл и освободить его от того одиозного привкуса, который ему придали ненавидящие демократию демагоги всякого толка, утверждающие, что так называемые «лихие» 90-е годы, годы торжества демократов, являлись чуть ли не самым ужасным периодом в истории России, забывая при этом и годы «красного» и сталинского террора.